

Магична Тлостанова

ФУРИЯ И ВАРЕНЬЕ ИЗ ЖЕРДЕЛЕЙ

Причинно-следственные явления происходят не только во времени, но и с помощью времени. Поэтому в каждом процессе Природы может затрачиваться или образовываться время.

Николай КОЗЫРЕВ

Все-таки у нас тут хорошо, не то, что в городе. Города сдались первыми. И люди потянулись нескончаемыми потоками назад — в маленькие деревушки и заброшенные хутора, и дальше — в чащу, в степь, в горы. Первые несколько лет можно было наблюдать исход человечества на автомобилях, поездах и самолетах. Но затем, когда достать топлива стало невозможно, все пересели в повозки, на велосипеды, а те, у кого не оказалось и их, были вынуждены воспользоваться собственными натруженными ногами. Инстинкт самосохранения затмевал собой все остальное, не давая остановиться и задуматься. Только уехав сюда, в эту бедную, но невероятно красивую приморскую страну, мы смогли, наконец, найти недолговечную и хрупкую точку равновесия и хоть как-то примириться с новыми условиями, в которых мы оказались. Здесь, в субтропической мягкой влажности, в заросших лесами, негусто населенных предгорьях еще можно порой вернуть иллюзию прежнего хода времени, замедлить его бег. Да-да, парадокс в том, что, перестав ходить на работу и вроде бы сойдя с дистанции вечной гонки, мы заметили, что время-то все равно течет быстрее, чем прежде.

Прошлая жизнь, проведенная в человеичнике, не оставляет моего подсознания. Иногда во сне я все еще оказываюсь в каком-то мрачном мегаполисе, только что пережившем катастрофу. Я лечу с головокружительной скоростью над опустевшими перекрестками с темными светофорами, над навечно закрытыми музеями, магазинами и театрами. Мой взгляд почти не успевает ухватить оборванные афиши с призывами голосовать за давно сгинувших кандидатов и рекламу совершенно ненужных теперь товаров. Сон всегда

обрывается в тот момент, когда я, зазевавшись, точно мечтательная птица, влетаю со всего размаха в стеклянную стену и она медленно и беззвучно раскалывается на тысячи осколков. Обычно на этом месте я просыпаюсь, вскакиваю и ухожу гулять на весь день. На берегу моря, в лесу, в горах еще можно хоть как-то зацепиться за смену дня и ночи, лета и зимы, ощутить свою причастность к циклам большого времени. Хронометрам мы давно не верим. У нас даже, кажется, нет ни одного в доме. Батарейки сели, новые достать неоткуда. Механических часов просто не осталось. Но здесь, в уединении, где существование наше подчинено главной задаче выживания, не так важно, сколько мы успеваем сделать за час, за минуту или за неделю.

Прежде казавшиеся нам неизменными временные законы потихоньку отменились, пока люди были заняты тем, что им казалось важным. Мне кажется, первыми это коварство времени ощутили не люди, а животные, птицы и растения. Запертые в городах с их искусственным освещением и кондиционированным воздухом, мы, по обыкновению, опомнились слишком поздно и только после грубой встряски, полученной извне. Никто не желал слушать предупреждения ученых о том, что планета стареет, что час теперь на пятнадцать минут короче, чем прежде, что ход времени убыстрился самым буквальным, а не символическим образом. Все надеялись, что все это домыслы безумных физиков, что на самом деле это мы, старея, замедляемся, а время для нас ускоряется, но то самое, настоящее, объективное время конечно же остается неизменным. Теперь ясно, что мы просто были больны страхом времени, страхом неподвластных нам перемен. Нам все казалось, что и на этот раз нас как-то пронесет, ведь раньше же пронесило и пресловутый конец света так и не наступил. Оказалось, что мы просто не заметили его прихода.

Да, я не представилась. Меня зовут Ева. Я живу в этом старом, скрипучем доме вместе с двумя давними университетскими друзьями. Мы переехали сюда, не скажу точно, сколько лет назад, поскольку дни, месяцы и годы стали теперь условными понятиями. Я сужу лишь по косвенным признакам и одним из самых точных является Фурия. Она уже старая, и не всегда у нее есть силы сопровождать меня в лес. А когда мы сюда переехали, меня поражали ее нескончаемая энергия и буйный нрав. Так что мы здесь, вероятно, уже не один год. Впрочем, обо всем по порядку. Я буду вам рассказывать и одновременно делать всякие дела, ведь дом-то на мне!

Сейчас соберу жерделей вон с того низкорослого деревца. Вы не смотрите, что они мелкие, зато какие сладкие, румяные, ароматные. А дерево крепкое, очень выносливое. Никто за ним специально не ухаживает, да и лета никакого давно уж не было, солнце появляется без предупреждения в любое время года и так же легко сменяется дождем или снегом. День и ночь еще остались, но прежние законы их смены сдвинулись, а измерить и оценить эти изменения некому и не на чем. Деревья, как и все живое на земле, сошли с ума и сами решают, когда им цвести и плодоносить. Впрочем, изнеженные селекционные сорта этого не выдержали и погибли в первый же год, а вот неприхотливая полудикая жердела — как раз наоборот. Видите, как быстро набралась полная корзина. Сейчас донесу ее до нашей любимой деревянной веранды и немного передохну. Ох, веранду надо бы покрасить. Она совсем облупилась. Но краску взять негде. Нужно отдохнуть. За один раз не донести! Как странно, вот так же помогала я нести собранный урожай бабушке, пятьдесят с лишним лет назад, а может, и больше. Звучит страшно и торжественно — полвека, но на самом деле ничего ведь не изменилось. Только иду я уже не вприпрыжку, и небо теперь почти всегда затянуто серым брезентом. Синева осталась в памяти. И бабушки давно нет. Ну вот, пока собирала жердели, снова зарядил дождик. Как бы там Тамара не промокла по пути с рынка.

Устала я что-то. Вот так, сейчас присяду. Этот трехногий табурет остался нам от прежнего хозяина. Все звали его Ацха, а настоящее имя давно забылось. Табурет приземистый и устойчивый, как и вся остальная мебель в доме, сделанная руками хозяина. Я люблю сидеть на этом низком табурете, когда нужно делать монотонную домашнюю работу. Вот как сейчас — перебираю жердели. Кто это там тяжело дышит и вздыхает? Фу-у-у-урия, ну конечно, это ты. Заходи. Знаю, тебе тесно на этой веранде, но ты уж как-то уместись, пожалуйста. Давай, ложись, поговорим. Вот эти крепкие, а эти перезрели, их надо съесть первыми. Будешь? Попробуй. Они сладкие. Фурия, мы с тобой и не заметили, как состарились. Звучит как приговор. Но что такое пятьдесят или шестьдесят лет вон для той чинары на краю леса? Всего лишь миг. А для тебя и пять лет — уже полжизни. Вот так, мы с тобой съедим все спелые жердели, а косточки оставим, разложим их вот здесь сушиться на клеенке. Это для Ника.

Вроде я и не так уж стара. Я же еще могу ходить довольно далеко в лес и карабкаться на окрестные невысокие горки, чтоб набрать

грибов или ягод. Только глаза подводят. Катаракта. И все же я — динозавр из другой эпохи, во всяком случае для детей моих друзей. Когда я писала свою первую диссертацию — а это было как вчера, хотя на самом деле еще в прошлом веке, так вот, тогда не было компьютеров или они были дороги и недоступны простым смертным. И я прилежно стучала часами на красной портативной пишущей машинке. Много позже, в «Музее вещей» я оказалась вместе со своими студентами в интерактивном зале. Среди экспонатов обнаружилась печатная машинка. Я уселась за нее и быстро напечатала полстраницы. А потом поймала несколько взглядов моих подопечных, полных восхищения, смешанного с настороженностью, как будто я — дрессированный медведь и неизвестно что могу выкинуть. Нет, я не так уж стара. Я еще могу себя обслуживать и даже помогать другим, вот как сейчас Нику. Кстати, как он там, надо бы проверить.

— Ник! Ты спишь?

— Нет, я читаю. Приходи, когда освободишься. Я расскажу тебе об амурском леопарде.

— Хорошо, приду. Вот только обед приготовлю. А разве еще остались амурские леопарды?

— Нет, конечно. Но нужно о них помнить.

И правда, нужно помнить. Только как это сделать? И как решить, что помнить, а что забыть. Я тогда сказала студентам, что на машинке или гусиным пером, диссертация есть диссертация. Мысли не зависят от способа их фиксации. Или все же зависят? Но мы определенно не были глупее потому, что не знали компьютеров. А вообще, все это, конечно, старческое брюзжание!

— Ник, у тебя болит больше или так же?

Молчит, не отвечает, значит, больше, но не хочет меня расстраивать. И жар у него не сходит.

— Фурия, ты побудь здесь, а я пойду принесу овощей для супа. Нет-нет, не выходи, а то намокнешь.

Тут за домом у нас огород — небольшой, но все, что нужно есть. Вот черт, снова мертвые птицы. Каждое утро я нахожу несколько павших птиц на нашем дворе. Мне кажется, они дезориентированы перепутанными временами года и летят в теплые края не вовремя, да к тому же и сбиваются с пути в дороге. Отсюда и многочисленные птичьи тела, рассыпанные по окрестностям. Как жаль, что они стали

первыми жертвами воцарившегося безвременья. Вот переделаю все дела, и надо будет их похоронить.

Теперь надо разжечь огромную печь. Я каждый раз боюсь, что не получится, но руки помимо моей воли делают это легко и быстро. Никогда бы не подумала, что смогу научиться разжигать огонь в настоящей печке. Всю жизнь я была сугубо городским человеком, даже квартирно-кабинетным. А тут оказалось, что у меня лучше всех получается разжигать наш последний очаг.

Знаете, в том музее был еще один зал, где были собраны громоздкие камеры-обскуры XIX века и в центре стояла даже телеграфная машина. Студенты смотрели на меня с надеждой — ну, уж это вы точно должны знать! Они не понимали, почему я не владела одновременно технологией производства дагерротипов и ремеслом телеграфистки. Для них все, что было до их собственной жизни, сливалось в один нескончаемый доисторический период. Один бесконечный и однородный плюсквамперфект. Мне было трудно понять их чувство времени. Я и сегодня хорошо помню мир моих родителей, их слова, вещи, любимые лица, книги и фильмы. Мы понимали друг друга, причем иногда без слов, и разделяли один и тот же жизненный и ценностный круг, хотя они родились на заре 1930-х, казалось бы, столь же далеких от меня, как и мои 1970-е от теперешних молодых. И все же это не одно и то же. И пятьдесят лет внутри XX века и сегодня — это дистанция огромного размера. Это шаг в другую эпоху. Когда же произошел этот переход? Когда распалась окончательно связь времен? Или все же не окончательно? Мне кажется, что она окончательно распадется, когда умрем мы — те, кто беря в руку айфон, помнит простейшей телесной памятью, как водил пальцем, набирая номер на дисковом. Хотя, возможно, так кажется каждому поколению. Впрочем, теперь, после катастрофы мы все оказались снова в одной исторической эпохе, хотя не все это понимают и кое-кто по инерции пытается жить в своем измерении и со своей скоростью.

— Фурия, что ты вздыхаешь? Тяжко тебе? Ну, подожди. Вот сварится суп, и я тебе дам немного.

Не знаю, зачем я все это рассказываю. И кому. Кроме Фурии меня и послушать некому. Но иногда мне кажется, что у меня есть внимательный незримый слушатель и слова мои не пропадают зря. Вот раньше люди вели дневники для будущего. А мне нечем и не на

чем записать мои мысли. Поэтому я полагаюсь только на свой голос и верю, что кто-то его слышит, так вот просто, в прямом эфире.

Да-да, давай я поглажу твою лохматую голову, вот так. А теперь пусти меня, нужно помешать варенье, пока оно не пригорело. Дождь все идет и идет, и старая хурма стучит веткой в окно. Ты только посмотри, Фурия, на ней и припозднившиеся желтые цветы, и парочка сморщенных плодов, и зеленые завязи, и свернувшиеся сухие листья, и голые ветви. И как она выживает во всех сезонах сразу? Впрочем, это мы, люди, плохо приспосабливаемся к переменам. Я вот до сих пор не могу привыкнуть к тому, как всего за несколько лет изменилось практически все. Сначала нескончаемая пандемия, потом столкновение с астероидом, землетрясение и, спустя несколько месяцев, резкое похолодание на большей части планеты. Мы и представить себе не могли, что умозрительные сценарии вулканической или ядерной зимы, о которых дети читали в учебниках физики, географии и астрономии, вдруг станут частью повседневной жизни. Нам казалось тогда, что все мы угодили в какой-то научно-фантастический фильм с плохим сценарием. Но он все не кончался, развязка не наступала, а силы были на исходе. Особенно тяжело стало в тот год, когда гигантская пылевая завеса загородила Землю от Солнца. Умом мы понимали, что погибшие урожаи, снег в июле, вышедшие из берегов реки и страшные ураганы происходят в полном соответствии с научными теориями объяснения мира, но это не помогало психологически, а скорее мешало, повергая нас — превратившихся за несколько столетий почти поголовно в безнадежных атеистов — в какое-то неизбывное отчаяние.

Никто точно не знает, но скорее всего людей теперь осталось не больше половины. И число это продолжает быстро сокращаться. В больших городах начался голод. Все бежали куда глаза глядят, надеясь найти менее пораженные катастрофой районы. Но добраться куда-то было очень сложно. Самолеты не могли взлететь. Существовал только наземный транспорт, да и то не везде. Затем встали заводы, нефтепромыслы, шахты, электростанции, не стало топлива, необходимого для транспорта. Самодовольная цивилизация розетки и вайфая исчезла с головокружительной быстротой. На этом фоне рухнувшая мировая экономика казалась сущим пустяком. А недавнее обожествление рынка теперь представлялось странной ересью, ведь чтобы выжить, нужно было не иметь ценные бумаги, а уметь

вырастить и сохранить зерно, овощи и фрукты, поймать рыбу и подоить корову. Но даже теперь были те, кто верил, что все вернется к прежнему «равновесию».

Впрочем, еще недавно я тоже не могла себе представить, что жизнь изменится так круто. Из нас троих я дольше всех пыталась следовать уже ушедшим интеллигентским представлениям об удачной жизни с их иной плотностью и скоростью времени и изменений. Внушенная с малых лет вера в то, что все будет хорошо, что я вырасту, выучусь, буду заниматься любимым делом и добьюсь успеха и признания, потом уйду на пенсию, переключусь на творчество, стану вести правильный образ жизни и потому не заболēju и не умру раньше времени — эта вера рассыпалась вмиг. Но осознание пришло слишком поздно, когда изменить уже было ничего нельзя.

Теперь вся моя прежняя жизнь превратилась в один сплошной плюсквамперфект. Защитив одну, а затем и вторую диссертацию, я успела получить работу в университете, пока он еще сохранял видимость нормальности. Но за новыми корпусами и библиотеками, за проводившимися по инерции занятиями скрывалась черная дыра бессмысленности, обреченности, гигантской рассогласованности с жизнью и с будущим, которого по сути просто не было. Откуда в нас была эта странная близорукость человека, который упорно белит свой домик, примостившийся на склоне проснувшегося вулкана, не замечая быстро подбирающейся к нему лавы? Вулкан было приказано игнорировать. Научные исследования касались исключительно более эффективных способов побелки домика и экологически щадящей организации огорода и сада вокруг него. Главное преимущество университетской среды — академическая свобода — было незаметно свернуто и забыто, уступив место исключительно соображениям скорой прибыли. Как смешно и нелепо все это выглядело теперь, когда мгновенно рухнули и финансовая система, и границы, и даже понятие собственности, и вообще все искусственные приоритеты социальной значимости, которые действовали лишь в логике легко рассчитываемого и достижимого счастливого будущего. Его-то и не стало.

Конечно, первые сигналы отчетливо прочитывались уже давно. В какой-то момент я поняла, что больше не могу сама выбирать направления своих исследований. И дело было не в цензуре, а в банальной прибыли. Несчастные ученые по всему миру целыми днями изобретали бессмысленные темы научных проектов, которые

затем нужно было утвердить в десятке инстанций, включить в заявку и попросить денег на несколько лет, чтобы привести задуманное в исполнение. Но беда была в том, что разнообразные инстанции и руководившие ими небожители, раздававшие гранты, отличались крайней степенью невежества и полным отсутствием воображения, и самое главное, все как один, были поражены все тем же страхом времени и боязнью перемен. Даже наблюдая очевидные знаки надвигающейся катастрофы, они все равно продолжали выдавать деньги исключительно на развитие утопий технократического радужного будущего, которому не суждено было наступить никогда, и неизменно отвергали все, что заставляло задуматься о своей роли в мире и о том, что еще можно было бы изменить и спасти.

Конечно, мы все сильны задним умом. Нужно было тогда, сразу же, не мешкая, уходить, но я смалодушничала и осталась. Тем более, что идти было особенно некуда и делать я больше ничего не умела. Ну, или мне так казалось. Поэтому несколько лет я играла в эту игру, соревнуясь с коллегами по степени абсурдности научных заявок, которая коррелировала с их финансовой успешностью. Изучение пожертвований человеческих слез, содержащих синтетические гормоны, Балтийскому морю, анализ поведения улиток в пивных ловушках на дачных участках близ Трондхейма, исследование смелых половых ролей роботов, используемых в индустрии заботы, проект об аффективных аспектах роющей деятельности кротов в средиземноморском регионе. Вот только некоторые примеры. Защитив диссертацию по зоопсихологии, теперь я была вынуждена поддаться модным новоматериалистическим веяниям и заняться перспективами политического активизма приматов.

— Ник, как ты там? Суп уже сварился, я его сейчас процежу и тебя покормлю.

Он молчит, может, заснул, а может, ему хуже. Честно говоря, я боюсь идти в комнату Ника.

Пандемия и катастрофа поставили жирную точку на академической жизни. Какое-то время мне пришлось перебиваться случайными заработками, проводя сеансы психоанализа с кошками и собаками пока еще оставшихся состоятельных людей. Но уже спустя год все это потеряло смысл. И попытки заработать на сносную жизнь сменились простым выживанием. Мне было нечем платить за квартиру, и я отправилась в офисно-жилую башню на окраине леса в Новой Москве.

Теперь здание практически пустовало. По слухам, там можно было поселиться нелегально, и никто бы тебя не обнаружил, во всяком случае, в течение нескольких месяцев. В здании пока не отключали отопление, воду и свет — то ли по бюрократической безалаберности, то ли потому, что это был умный дом с замкнутым циклом, рассчитанным на вечное существование, и отключить их было просто невозможно. Я пробиралась по полузаброшенному городу на велосипеде, а кое-где и пешком. Некоторые районы были завалены толстым слоем ила и глины. В центре все выглядело более пристойно, но и там из Подколокольного переулка на меня зарычала стая бродячих собак, явно решивших, что я — их добыча. Кое-как добралась я до бывшего рабочего предместья, лишь недавно ставшего частью города.

Хозяева башни уехали бог знает куда. Она стояла темная и обшарпанная, но в некоторых оконцах ее верхней части все же горел свет. В полутемном лифте этого архитектурного монстра я и столкнулась с Тамарой, которую не видела, кажется, больше тридцати лет. В юности мы играли вместе в студенческом театре. Я была Офелией, а статная низкоголосая Тамара — Гертрудой. Ну, а Ник, как вы уже догадались, был Гамлетом. Тамара почти не изменилась, только прежде черные волосы полностью поседели, но все так же были подстрижены в аккуратное каре. Бывшая Гертруда, как оказалось, тоже жила в этом здании, более того, до самой пандемии она в нем и работала, полагая идеальным такое положение вещей, особенно зимой, когда выходить на улицу так не хотелось.

— Ты в своем репертуаре! Я всегда вспоминаю, как ты жила в общезжитии главного здания МГУ и не выходила на улицу месяцами, курсируя между домом культуры, аудиториями, бассейном и продмагом. Ты знала все потайные лестницы и катакомбы нашей alma mater.

— Да я и здесь поначалу так устроилась. Но теперь это не имеет смысла. Контора моя накрылась медным тазом. И уж точно навсегда. Так что и жить здесь тоже глупо. Но зато я не плачу за квартиру. Нас тут таких много — нелегалов. Правда, говорят, что поскольку солнца не было уже больше года, наш умный дом не получает достаточно энергии, и скоро у нас не станет ни электричества, ни горячей воды.

До катастрофы Тамара работала менеджером по продаже впечатлений — была тогда такая безумная специальность. Кто мог представить, что подававший надежды геоэколог, которого заботило выживание человечества, превратится в обычный офисный планктон.

Впрочем, тогда никто почти ничего не производил и не делал руками. Создавалось впечатление, что окружающие либо продают воздух, либо всучивают простофилям скверные одноразовые товары. Других просто не было. Тамара сидела в маленьком кабинете, похожем на купе в поезде дальнего следования, только стены в нем были стеклянные. Купе находилось на тридцатом этаже башни, из огромных окон которой вечно дуло. Внизу не было, увы, ни моря, ни реки, а только крыши налепленных как попало зданий, пересечения полузаброшенных железнодорожных путей и океан зеленых гаражей бывшей промзоны. Только одна, жилая сторона дома выходила на чахлый сосновый лесок, но его-то как раз и не было видно из окон офиса. У Тамары был минималистичный стол, на котором помещались только искусственное денежное дерево и встроенный ноутбук. Крышка стола при нажатии на кнопочку начинала ездить вверх-вниз, позволяя хозяйке периодически работать стоя, как это делали некоторые великие писатели. Впрочем, писателем она не была, хотя определенное отношение к вымыслу все же имела. Тамара продавала состоятельным и не очень людям прыжки с парашютом в Андах и экскурсии на шоколадную фабрику в Швейцарии, полеты на воздушном шаре в Турции и зорбинг на Тибете. «Впечатление в подарок — отличная идея, которая позволит подарить дорогому вам человеку массу приятных эмоций, незабываемых ощущений, новый опыт и знания, шанс сменить обстановку и, возможно, даже найти себя», — убеждала она клиентов. Желающих было особенно много среди тех, кто на самом деле не мог этого себе позволить. Потому что подаренные впечатления были престижны, они поднимали дарящего и одаряемого в собственных глазах, суля выход за границы возможного.

Сама Тамара попробовала такое впечатление всего-то раз, когда ее наградили по итогам года как лучшего менеджера и отправили на уикенд в винный бутик-отель на берегу моря. После очередной дегустации, слегка опьянев, она отправилась погулять, чтобы алкоголь быстрее выветрился. Тогда-то Тома и заметила старый дом, практически вросший в скалу высоко над морем. Больше всего ей понравился элегантный балкончик, опоясывавший дом по периметру. Кое-где белые столбики его балюстрады сгнили и выпали, как зубы у пожилого человека. Но дом держался и уверенно подставлял свой потрепанный фасад морскому ветру. Тамара подошла поближе и увидела смоковницу и дерево хурмы во дворе, пару мандариновых

подростков и роскошные кусты неизвестных ей цветов. На калитке висела порыжевшая табличка: «Осторожно! Уверенная в себе собака!» И чуть ниже скрученный по краям листок бумаги с выцветшей надписью: «Дом продается. Торг уместен. Стучите». Тамара так и сделала. И почти мгновенно над оградой показалась огромная лохматая голова с прижатыми обрубленными ушами и влажным черно-розовым носом. Волкодав облизнулся и вздохнул. Его мощные лапы свисали с заборчика, но он явно не намеревался нападать.

— Вы что тут шастаете? Правда решили купить или просто делать нечего? — Рядом с собачьей появилась человеческая голова — такая же лохматая и полуседая.

— Простите, пожалуйста, уж больно красивый у вас дом! А можно посмотреть его внутри?

Дом перестраивали и надстраивали вот уже двести лет — перекрывали крышу, расширяли бойницы в окна, пристраивали балкон, делили прежде одну общую комнату на небольшие отсеки для хозяев и гостей. Но вырубленная на совесть в скале каменная лестница все так же вела на второй летний этаж. Несмотря на все переделки, дом не потерял своей цельности и грубоватой привлекательности. Почему-то верилось, что он выдержит любое цунами. Тогда Тамара, конечно же, не купила это удивительное здание. Слишком невероятным казался сценарий тотального дауншифтинга. Но прошло всего несколько лет, и вот мы здесь.

Впрочем, если бы не случайная встреча с Ником, ни я, ни Тамара, наверное, не решились бы на такой шаг. Мы все были слишком долго рабами обстоятельств. Политики мыслили в рамках своих коротких электоральных сроков, но продолжали убаюкивать население пустыми обещаниями. Ученые периодически предупреждали о надвигающейся беде, но все чаще замолкали под страхом потери работы и репутации. Ведь исследования, идущие вразрез с генеральной линией самоуспокоения и вечного статус-кво, не имели шанса получить финансирования. А обычные люди выживали, кто от зарплаты до зарплаты, кто по привычке, стараясь откладывать на черный день, напрасно надеясь хотя бы на неголодную старость.

Я не видела Ника очень давно. В юности мы были близки, но потом наши пути разошлись. Я занималась наукой, писала диссертацию. А Ник на четвертом курсе перешел на заочное отделение, потому что надо было помогать старенькой и больной маме. Все жалели,

что лучший на потоке студент стал заочником. И в студенческий театр на репетиции он ходить перестал. Роль Гамлета отдали противному Шептунову с филфака.

Ник был и в самом деле очень талантлив. Когда он произносил знаменитый монолог, остальные актеры студенческого театра замирали и забывали свои роли. Его мама угасала еще несколько лет, и вернуться к учебе на биофаке и к исследованиям человеческих органов, воспринимающих магнитное поле, он так и не смог. Сначала Ник переводил научные тексты. Потом, когда наука перестала интересовать кого бы то ни было, прожить на эти жалкие гроши стало невозможно, и он выучился на собачьего парикмахера. Звери его всегда любили. Даже самые свирепые и капризные псы стояли у него смиренно, улыбались и позволяли себя стричь. Нужда отступила. Прошло несколько лет. Не стало мамы. И Ника охватила охота к перемене мест. Он принимал клиентов на дому, а в свободное время брался за разные странные работы, более или менее временные, которые позволяли ему путешествовать и оставаться независимым. Мы все ведь тогда верили, что можно что-то изменить в отдельно взятой человеческой жизни, куда-то уехать и начать все сначала.

В год, предшествовавший пандемии, он успел поработать выравнивателем подушек в огромном мебельном магазине в Аргентине, дегустатором дыхания в фирме жвачек «Орбит» в Германии и даже лающим сыщиком собак в шведской налоговой инспекции. Он должен был ловить хозяев, скрывавших истинный размер своей собаки при оплате налога. По тому, каким голосом они отвечали на его лай, он определял породу и выставлял счет. Но биолога Ника больше интересовало общение с собаками, а не штрафы хозяевам, и его уволили. В конце года он пытался устроиться переворачивателем пингинов в Антарктике, но не прошел по конкурсу. Собственно, так мы и встретились. Я явилась в ту же корпорацию, которая озаботилась судьбой пингинов в районе аэропорта. Их сбивали с ног взлетающие лайнеры, и бедняги уже не могли подняться и погибали. У меня был грант на проведение исследований по знаковой коммуникации с нелетающими птицами. Тут, в приемной, я и услышала знакомый голос. Я бы никогда не узнала Ника, если бы не голос. Располневший, потухший и небритый человек ничем не напоминал прежнего Ника, но голос совершенно не изменился. Та же бархатистая, мягкая хрипотца. Те же полувопросительные, будто неуверенные интонации.

— Ник?

Он ничего не сказал. Только подошел ко мне и молча обнял. Бережно, как прежде. И как прежде от него пахло мокрой травой.

Теперь Ник медленно умирает в соседней комнате. В этом нет моей вины, и все же, может, он остался бы жив, если бы мы не пригласили его тогда поехать с нами. Но кто мог предположить, что все закончится именно так. Ник знал о животных, казалось, абсолютно все, а мы хотели собрать осиротевших или брошенных хозяевами зверей со всех окрестностей и попытаться помочь им выжить. Да и его собственное временное гаражное пристанище не внушало доверия. Первым нашим питомцем стала та самая уверенная в себе собака. Мы, кстати, так и не сняли табличку с ворот. Волкодавиху звали Фурия. Но характер у нее был спокойный, хотя чувства собственного достоинства ей и впрямь было не занимать. Когда мы решили купить этот дом, Тамара написала письмо старому хозяину Фурии. Ацха ответил на удивление быстро: «Деньги теперь ничего не стоят. Сам я решил уехать. Не спрашивайте, куда. Приезжайте. Живите так. Только обещайте, что не бросите дом, Фурию и сад». Он даже не дождался нашего приезда. «Ушел в горы и пропал, — объяснила тетя Доротея, наша ближайшая соседка, чей дом в пятидесяти километрах отсюда, — а пойти поискать некому. Никого не осталось». Собака поначалу не желала с нами общаться. Она совсем не ела и выла ночами. Но потом Ник сделал что-то такое, и она оттаяла и взяла еду с его руки. А теперь он умирает. Скорее всего, у него аппендицит. Но определить это точно невозможно. Ближайшая больница — в шестистах километрах от нашего дома. Служба скорой помощи исчезла вместе с разбежавшимися чиновниками приказавшего долго жить государства. Наш старый автомобиль давно не на ходу. Да и топлива нет. И лошадью мы так и не обзавелись.

— Вот так, Фурия, мы сейчас с тобой покормим Ника и будем варить варенье из жерделей. На прошлой неделе Тамара выменяла немного сахара на цветы. Так что у нас все получится. Ты знаешь, я загадала, если поправится Ник, то и мы выживем, мы все, понимаешь?

Я все по привычке цепляюсь за события повседневной жизни, чтобы отмерять время. Очень человеческая привычка. От нее трудно отделаться. Раньше это были просто *другие* события — рождение детей, смерть родителей, учеба, успехи на работе, смена власти, исторические катаклизмы. А теперь все съезжилось до варки варенья

и удачного обмена вязаных носков на муку. Будущее наше действительно отменилось, но привыкнуть к этому трудно. Ведь мы помним, что было иначе. Что могло быть иначе. Хотя знаем, что возврата нет, тот, другой возможный ход времени не оставляет нас в покое.

Нет, время не остановилось, не замерло, не кончилось, оно и впрямь вышло из пазов. Его выдернуло с мясом, и оно пошло вразнос, как та давняя карусель-центрифуга в моем детстве. Я не успела на нее сесть. Прямо у меня перед носом зритель закрыл запорной крышкой вход. А двадцать пять счастливых уже пристегивались ремнями к красным облупленным сидениям. Я молча ждала своей очереди, наблюдая за приготовлениями к чуду. Но уже через минуту, когда центрифуга дошла до верхней точки, максимально увеличив амплитуду и развернув седоков под углом в 90 градусов, карусель вдруг заскрежетала и развалилась на две части. С десятиметровой высоты медленно падали окровавленные взрослые и дети, какие-то огромные и уродливые железные детали, матерчатые зонтики, шляпы, сумки, солнечные очки, мороженое в стаканчиках. Металлический грохот заглушался криками и стонами. В сумерках белели оставшиеся навечно открытыми глаза. Прямо на меня спикировал маленький квадратный фольговый пакетик, вывалившийся, вероятно, из сумочки одной из жертв. Я подняла его и в сумерках разглядела надпись розовыми буквами: *osviežovač*. А в соседнем кегельбане монотонный магнитофонный голос продолжал, как ни в чем не бывало, рекламировать дешевый лунапарковый аттракцион: «Можете выхрать аж три сквейеле цени — жвикачки, брадавки, освежовач — живачка, соська, ошвежител».

— Смотри-ка, Фурия, вон там вдальеке на дороге виднеется человеческая фигурка — это наша Тамара возвращается с рынка. — Больше некому. Здесь, в глуши, и нет никого больше на многие десятки километров. И страны, в которой мы жили, давно нет. А вот люди кое-где остались, и даже новые приехали, как мы. Тамара выглядит уставшей. Она тащит мешок с продуктами и всякими нужными вещами, что можно пока еще выменять на ярмарке. Я всегда боюсь, что она надорвется, упадет и погибнет где-то на дороге без помощи. Ее ведь никто не найдет. Но я не говорю ей об этом, чтобы не напугать. — Фурия, иди, встреть Тамару, лизни ей руку, покажи ей, что мы ее любим.

— Тома, ты антибиотик достала?

— Нет. Только парацетамол. Он почти просроченный. Но еще месяц действует.

На ярмарке, куда Тома носит наши фрукты, овощи, цветы, носки и свитера, не продают антибиотиков. Только самые элементарные лекарства, что продолжают делать на местной фабрике, да и то сырье скоро кончится и даже этих простых фармакологических даров будет не достать.

— Парацетамол не поможет. А травы, ты нашла травы?

Тамара только кивает со вздохом. Потом молча машет рукой. Конечно, травы тут вряд ли помогут, но мы обе не можем дать Нику просто так умереть.

— Девочки, давайте сядем на веранде, будем помешивать варенье, пить чай и тихо беседовать. Знаю, Фурия, ты не говоришь на нашем языке. Но ты можешь вздыхать и иногда класть свою большую голову нам на колени. Ты так проникновенно это делаешь. И заглядываешь грустными глазами прямо в душу.

— У Ника скорее всего аппендицит. Что будем делать? Он так долго не протянет.

— Ты же сказала, что утром ему было вроде лучше?

— Ну как лучше. Он лежит уже несколько дней, не шевелюсь, с холодным пузырьем на животе. Я ему только даю пить всякие отвары, никакой твердой еды. Но понимаешь, все же чеснок, кора граната и сок алоэ не могут вылечить аппендицит. У него держится температура. Нужен антибиотик. А лучше всего хирург и операционная.

— Но как мы доставим его в больницу за шестьсот километров? На чем? Слушай, ну раньше же лечили людей без операции.

— Не в его случае. Да и антибиотиков нет.

— Нам бы узнать, какие еще травы помогают. Мы б с тобой пошли и нарвали. У Ника сильный организм. Он справится.

— У кого мы узнаем о травах? Никого вокруг не осталось, ты же знаешь.

— На ярмарке две недели назад была одна травница. Очень старая. Даже удивительно, что еще жива. Может, попробуем узнать, где она живет?

Тома очень устала, она зевает и засыпая прямо здесь, на веранде, с головой укрывается старым пледом. Странно, что тело ее под пледом почти не заметно. Она умеет как-то съеживаться и уменьшаться в размерах на нашем старом зеленом топчане.

— Давай-ка завтра этим займемся. Подарим ей банку варенья из жерделей и попросим вылечить нашего Ника, — говорю я в пустоту, понимая, что Тома уже давно спит и меня не слышит.

— Ох, как-то мне трудно дышать и что-то щемит в груди, не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Фурия, подойди ко мне, старушка!

Но вместо этого собака с трудом поднимается на ноги и спешит, как может, к каменной лестнице на второй этаж, туда, где лежит Ник.

— Да, Фурия, умница, давай, пойдем вместе, надо проверить, как он там.

Сгорбленная усохшая фигурка мелко дрожит и с трудом поднимается за собакой вверх, чтобы окинуть взглядом залитую солнцем уютную комнатку.

Нетронутая, свежезастеленная постель пуста. А книга о вымирающих видах на тумбочке рядом с кроватью покрыта толстым слоем пыли.

— Фурия, где ты, собака? Ты что, убежала во двор? Мне за тобой не поспеть.

А снаружи яркая осень сменилась холодным предзимьем. Из рта идет пар, и узловатые артритные пальцы не слушаются хозяйку. На верхушке старого корявого дерева висит последняя хурма-королек, уже схваченная морозцем. Ее сосредоточенно клюет какая-то розовато-серая птица с рыжим хохолком. Свиристель, предвестник скорых бедствий. Дощатая конура пуста, а сквозь дыру в ржавой миске пробивается жухлая трава. Между хурмой и мандариновым деревом — три аккуратных, неприметных холмика, чуть возвышающихся над землей.

— Дорогие мои, вот только доварю варенье из жерделей и присоединюсь к вам. Уже недолго осталось.

